

Иероним Ясинский

Наташка



Иероним Иеронимович Ясинский

Наташка

«В углу сырость проступала расплывающимся пятном. Окно лило тусклый свет. У порога двери, с белыми от мороза шляпками гвоздей, натекла лужа грязи. Самовар шумел на столе.

Пётр Фёдорович, старший дворник, в синем пиджаке и сапогах с напуском, сидел на кровати и сосредоточенно поглаживал жиденькую бородку, обрамлявшую его розовое лицо.

Наташка стояла поодаль. Она тоскливо ждала ответа и судорожно вертела в пальцах кончик косынки...»

Иероним Ясинский
Наташка

В углу сырость проступала расплывающимся пятном. Окно лило тусклый свет. У порога двери, с белыми от мороза шляпками гвоздей, натекла лужа грязи. Самовар шумел на столе.

Пётр Фёдорович, старший дворник, в синем пиджаке и сапогах с напуском, сидел на кровати и сосредоточенно поглаживал жиденькую бородку, обрамлявшую его розовое лицо.

Наташка стояла поодаль. Она тоскливо ждала ответа и судорожно вертела в пальцах кончик косынки.

– Значит, в подождании, – сказал Пётр Фёдорович, глянув в угол и поправив на затылке маслянистые волосы.

Как бы рассуждая сам с собою, он презрительно проговорил:

– Голь! Тоже – квартера! Угла не сможет снять, а квартера!.. Ах, братцы вы мои, и какое ж тут подождание! Ах, голь, голь!

Он слегка зевнул.

Наташка испуганно встрепенулась.

– Явите божеску милость! – выкрикнула

она, приложив руку к груди. – С места не сойти, ежели к маслянке не заплатим... Маменька как выздоровеют...

Но туман заволок ей глаза, голос пресёкся, и она заплакала.

– Явите божеску милость! – повторила она сквозь слёзы упавшим голосом.

Пётр Фёдорович лениво взглянул на неё.

– Вам колько лет?

– Семнадцатый.

– Чем же вы занимаетесь при своей маменьке?

– Мы ничем не занимаемся, – сказала Наташка, – а прежде я в магазине была, да мадам прогнала, что я всё плакала... Мне маменьку жалко было...

Дворник стал опять поглаживать бородку. Самовар то потухал, то снова пыхтел, весело и бодро.

– А давно вы гуляете? – спросил вдруг Пётр Фёдорович.

Наташка потупила чёрные ресницы, и на её смуглом лице выступил румянец.

– Я – не гулящая...

– Ой ли?

– Провались я...

– Ни-ни? – произнёс Пётр Фёдорович, на этот раз с бóльшим оживлением, и даже улыбнулся...

– Да что вы пристали, Пётр Фёдорович! – вскричала Наташка. – Это стыдно такое говорить... Право, что это... Я не надеялась...

– Нишкните! – сказал дворник. – Никто вас не обижает! Так колько вам лет? – спросил он строго.

– Шестнадцать, семнадцатый...

– Гм. А маменька чем же больны?

– Ноги... Всё ноги болят, – отвечала Наташка. – Так болят, что не приведи Бог! Это как скорчит, как схватит... «Моченьки моей, – кричат, – нету! Наташка, – кричат, – помираю!...» Бельё стирали, так простудились... И папенька тоже от простуды померли... Вот уже девятый год. Они меня грамоте учили, да ничего не вышло. А папенька были очень учёный. Маменька сказывают, они на сорока языках говорили и как, бывало, станут читать – словечка понять нельзя!.. Порошок знали от клопов, только маменька секлет забыли, а то б можно было много теперь денег за-

работать. И господа к ним хаживали, и всё водку вместе пили... А маменька всё, бывало, плачут.

Она замолчала. Пётр Фёдорович произнёс:

– Так-с...

Он медленно перевёл глаза с Наташки, которая вызывала в нём беспокойное чувство, на дверь, где висел железный крюк.

– Значит, как же насчёт подожданья? – спросил он вставая. – Хозяин приказывает, чтоб беспременно взыскать... Теперича выйдет, что я – потатчик разной там голи чердачной... Вы молодые, вы послужили бы, – прибавил он наставительно, – да маменьке и сделали б помочь... Что ж, на морозе несладко, чай, придётся!.. Чего ломаетесь?

– Явите божеску милость! – прошептала Наташка.

– Наладила одно!

– Я на гильзову фабрику поступлю. Сама отдам, своими деньгами! – с неожиданным приливом самоуверенности проговорила Наташка и бодро посмотрела на Петра Фёдоровича.

Но он махнул рукой.

– Теперь отдавайте. А об том мы неизвестны, когда вам там на фабрике... Да вы вот что...

Он взял её за плечо. Она вздрогнула и потупила глаза.

– Обождать можно... – начал он. – Отчего ж! На себя приму. Для меня это – деньги неважные. Может, у меня пятьсот рублей есть! Только вы... Да вы давно гуляете?

– Сказала я вам! – сердито отвечала Наташка и взглянула на него исподлобья, посторонившись.

Но он не выпустил её плеча из своих толстых пальцев.

– Вы... – он понизил голос. – Со мной погуляйте. Угощение будет.

Наташка чуть не крикнула: «Слюнявый», но удержалась.

– Сказала я вам, что я – не какая-нибудь, – заговорила она серьёзным, строгим тоном. – Ежели б я гуляла, – продолжала она, сбрасывая с себя руку Петра Фёдоровича, – мы бы не так жили... Мы бы квартиру в двадцать пять рублей взяли. Ко мне сколько приставали. Вон, прошедшим годом сын домового хозяина

в Пассаже приставал. Обещал сто рублей. Только говорит: «Поедем со мной, ежели ты честная». А я ему: «Ах, ты дурак, дурак!» А потом сваха приходила. «Не понимаешь, – говорит, – ты своего счастья». Но я тоже её обругала.

Пётр Фёдорович насмешливо произнёс:

– Горды уж очень: нам, значит, и думать нельзя! Куда нам! Ну, однако...

Он замолчал... Губы его были сжаты... Наташка беспокойно посмотрела на него и собралась уходить.

– Так нам выбираться? – спросила она глухо.

– Стойте, – произнёс Пётр Фёдорович, решительно загораживая ей дорогу, – потолкуемте... Чайку не выкушаете ли чашечку? Человек я жалостливый. Может, и... подожданье...

– Покорно благодарствуйте за чай! – сурово, с бледным лицом, отвечала Наташка и как мышка шмыгнула вон из подвала, крикнув за дверью злым голосом, в котором дрожали слёзы. – Бессовестные! Ах, вы бессовестные! Как же! Съехали! Дождитесь!

Пётр Фёдорович, напряжённо улыбаясь, поправил волосы обеими руками и, подойдя к самовару, сказал себе в утешение:

– Теперя на нас не пеняйте! А мы и почище найдём. Эх, народ какой ноне стал!! Прожжённый!

II

Мать Наташки, Аглая, дрогла от стужи, под одеялом, из дыр которого ползла вата грязными клоками. Оконца намёрзли. Потолок низко навис, безобразные тени обволакивали углы, кровать, ухваты и вилы возле печи, ползлял чёрными щелями. Перед тёмной иконой висела лампадка как огромный серый паук. Давно уж она не теплилась. Аглая с голодной мукой смотрела вокруг, приподнявшись на локте, выбирая взглядом, что бы продать или заложить. Но взгляд ни на чём не останавливался, и она с тоской упала на подушку, злясь и кашляя.

Дверь отворилась со скрипом, и вошла, запыхавшись, Наташка, с красными от холода щеками.

– Ну, что? – спросила Аглая.

Девушка потупилась, хотела что-то ска-

зять, но смолкла на полуслове, села на табуретку и, шатая ногой, стала смотреть в окно.

– Что ж матери не отвечаешь?

– Да что отвечать... Ничего не сказал... Путаник!

– Что ж он тебе?

– Погуляем, говорит...

– Тоже! Ах, скажите, пожалуйста, какой герцо́г явился! – сердито вскричала Аглая. – Кабы ты не была душой, Наташка, наплевала бы ему в самые буркала, а вечером деньги принесла бы и сказала: «Нате вам, не нуждаемся в вас, мужиках необразованных»...

– Маменька, – сказала Наташка, водя пальцем по стеклу, – вы опять говорите такое... А мне, маменька, это стыдно слушать...

– Ну, побей меня! – укоризненно произнесла больная и заплакала.

Девушка подошла к матери. Седые волосы Аглаи беспорядочно разметались на грязной подушке. Острый подбородок выставлялся из-под одеяла. Костлявые руки прижимались к груди.

– Маменька! Скучно вам, бедная? – спросила Наташка со слезами на глазах. – Ножки бо-

лят?.. Маменька, не сердитесь на меня! Когда у меня такой характер, что и рада бы я, да не могу.

– Хорошо, хорошо. Умру – спасибо тебе скажу на том свете! Хорошо!

Аглая печально мотнула головой и продолжала плакать, проклиная шёпотом непокорную дочь.

Наташка тоже захныкала и, схватив себя за волосы, отошла к окну; слёзы её капали на подоконник, и она говорила:

– Что я за несчастная такая! Что за каторжная жизнь! Что это они выдумывают! Не хочу я этого, на фабрику поступлю, денег заработаю...

Аглая стихла первая. В тупом отчаянии смотрела она в потолок, хрустя пальцами, призывая мысленно смерть. Наташка утёрла слёзы косынкой и стала глядеть на мать. Она начала:

– Маменька, я денег вечером достану.

Больная окинула её недоверчивым взглядом.

– Сбегаю к Паше... У той, может, есть...

Аглая сказала:

– Дура! На кого надеется!

– А теперь, маменька, – продолжала Наташка, – продам я утюг?

Глаза Аглаи радостно сверкнули.

– Продай. Нет ли ещё чего? Эх, опомнись, Наташка, образумься! – крикнула она вслед девушке, юркнувшей за дверь.

Через полчаса Наташка вернулась с печёнкой, фунтом белого хлеба и крутыми яйцами.

– За сколько продала?

– За сорок копеек, – робко отвечала Наташка, дуя на пальцы.

Больная стала ворчать и упрекать вполголоса дочь, что та добра материнского не жалеет, а может копеек тридцать и припрятала. Наташка не оправдывалась, но перестала есть. Старуха спрятала её долю печёнки под подушку, вместе с куском булки, и продолжала есть и ворчать, отвернувшись к стенке. Поевши, перекрестилась и сказала:

– Что-то даст Бог на завтрашний день! С таким иродом недолго протянешь!

Наташка посидела и стала собираться к Паше. Грудь у неё колыхалась от досады, губы слезливо дрожали.

«Простыни хотела Паша шить. Как даст денег, так я ей и даром, заместо процента, пошью».

Вдруг, на лестнице за дверью послышался шорох.

III

Вошла, тяжело дыша, особа неопределённых лет, в меховом салопе, бархатной шляпке и с огромной муфтой, полная, с набелённым лицом и дряблыми веками. Глазки её пытливо глянули на подобострастно улыбнувшуюся Аглаю и на девушку. Обратившись к последней, жидовка прищурилась и картаво сказала:

– Ты – прежняя дура, или взялась за ум, наконец?

Махнув раздушенным платком, она прибавила:

– Не трудись, впрочем, говорить. Сама я вижу. Дурой была, дурой и осталась.

Аглае она сказала:

– За что она тебя морозит? Такая красивая девчонка содержит мать в грязной конуре... Сечь её надо, бить! Что она, замуж думает выходить? Дождётся того, что станет ста-

рой девкой. Всякий товар свою пору знает. Ах, глупые, эти девчонки! Честь, а нечего есть! Аглая, этого не годится бедным людям!.. Зачем ты ей не внушаешь? Наташка, дай мне стул, чтоб я села!

Усевшись, она продолжала:

– Отдай мне её, Аглая. Я её одену, выскребу – она такая красоточка будет – ахх! Барышня, розочка. У меня бывают всё хорошие господа, знатные господа. Музыка себе играет. Деликатный, благородный дом!.. Аглая, что я тебе скажу...

Она приложила большой палец к безмянному и, подняв брови, махала рукой в такт со своей речью.

– Наташка поедет со мною. Она мне очень нужна. Я бы не пришла, верь Богу! А тебе я оставлю двадцать пять рублей и пришлю женщину смотреть за тобой. Аглая, слышишь? Понимаешь меня? Ну?

Глаза Аглаи горели, но она тоскливо помотала головой.

– Ах, Рахиль Борисовна, не знаете вы нас, благодетельница! Ведь упрямые мы как идо-лы!.. Кабы девчонка была с чувствами... а то

ведь ка-мень! Убедите вы её, а я отказываюсь. Помирать, так помирать. Что ж делать с этой чучелой! Мне ни бить её, ни что... Рахиль Борисовна! – вскричала она в порыве отчаяния. – Нет несчастнее меня матери!

– Паскуда! – укоризненно сказала полная дама, обращаясь к Наташке. – До чего ты доводишь мать! На ней рубахи нет; смотри, на ней кожа да кости, смотри, как вы живёте! Что ж ты, дура деревянная, счастья своего не знаешь?

– Мне с вами разговаривать не о чем, и со мной вы молчите, – строго возразила Наташка. – К вам, вон Паша говорит, с Невского шлюха последняя не пойдёт, а я и подавно. У меня глупости в голове не сидят, и денег ваших не надо. А маменьке, на их болезнь, я достану. Пускай они не плачутся. А кабы я хотела гулять, так в лисах ходила бы. Да сказала я вам уж раз, чтоб убирались! Вы чего тут надеетесь? Маменьку только расстраиваете! Сами дуры!

– Наташка! – произнесла, задыхаясь, Аглая.

– Пускай себе болтает! – сказала Рахиль Борисовна с презрительной улыбкой на поблед-

невших губах.

Но Наташка замолчала, и она начала:

– Какая глупенькая! Ты подумай! Я наплевать хотела на твои слова. Сама потом будешь сожалеть. Что я тебе скажу в последний раз...

Она встала.

– Твоей матери я дам тридцать пять рублей... Поедешь со мной?

Аглая приподнялась на локте и жадно смотрела в лицо дочери. Та молчала.

– Ну? Ну, ещё пять рублей накину. На малиновое варенье матери. Пусть себе с чаем покусает...

Наташка молчала.

– Чего ж ты не отвечаешь, дурочка? Не сержусь я на тебя. Бог с тобою и с твоими словами... Ну, вот что...

Она подошла к дверям и остановилась.

– Для круглого счёта, – сказала она скороговоркой, – я уплачу Аглае пятьдесят рублей серебром! Довольна ты? Ну?

Наташка сердито крикнула:

– Убирайтесь!

– Что-о?

– Убирайтесь! Убирайтесь!

– Дурочка, ты слышала, что я сказала?

– Не нужно...

Рахиль Борисовна пожала плечом и подняла глаза к небу. Потом сказала:

– Прощай, Аглая!

Впрочем, она сейчас же вернулась.

– Шестьдесят рублей, – проговорила она сухо. – Поедешь?

Глазки её впились в хорошенькое личико Наташки. Она ждала со стороны её хоть малейшего проблеска благоразумия. Но та была всё по-прежнему непроходимо глупа.

– Вот дура! – вскричала Рахиль Борисовна и вышла, хлопнув дверь.

Старуха глянула на дочь и, тряся кулаком, скаля жёлтые зубы, произнесла задыхающимся шёпотом:

– Зарыла!

IV

Наташка отправилась к подруге Паше.

Паша платила за комнату десять рублей, и у неё на окне висела занавеска, а мебель состояла из комода, узенькой кровати и пары буковых стульев.

Сама Паша старалась походить на барышню: алые губки свои она кокетливо ёжила, белокурые волосы подвивала и одевалась по моде.

Днём она работала на фабрике, а вечером шлялась по Невскому, впрочем, изредка: боялась попасться и получить билет. В месяц она проживала до пятидесяти рублей.

Наташка робко вошла к ней, но была принята радушно, хотя немного свысока. Паша с тех пор, как стала ходить в пальто, отделанном плюшем, и в меховой шапочке, усвоила, по отношению к подруге, особый покровительственный тон. Старшие сёстры, собирающиеся выйти замуж, обращаются так со своими младшими сёстрами.

– Здравствуй, лапушка! – сказала Паша, весело хлопая в ладоши. – А я смотрю, что это мне так уж скучно, с кем мне, думаю, чай пить? А вот и ты. Но послушай...

Она рассмеялась.

– Как же это так возможно! – продолжала она, беря двумя пальцами её лёгкое пальтишко. – Не стыдно тебе? В чём ты ходишь!

Наташка нахмурилась и протянула руку к

своей одежде.

– Не трогай, – сказала она. – Где нам!

Паша, всё продолжая смеяться, подбежала к комоду и, вынув оттуда красное шерстяное платье, с торжеством показала его гостье.

– А мы, видишь, как щеголяем! – произнесла она, отряхая платье и любуясь им. – У портнихи шила!

Наташка пощупала материю.

– Хороший люстрин, – сказала она.

– Не люстрин, а фэй!

Наташка молчала.

– Ну, что, нравится?

– Хорошее платье.

– Прелестное! – с капризным выражением счастливого лица крикнула Паша. – А на тебе всё тоже, прежнее?

– Спрашивает!

– Когда ж ты себе новое сошьёшь?

– Не знаю.

Паша усадила подругу на диван и стала вполголоса петь, качая головой.

– Так нравится платье? – спросила она.

– Нравится, – ответила Наташка со вздохом, польстившим Паше, которая не могла

поэтому удержаться, чтобы не поцеловать по-другу.

Тряхнув ещё раз обновкой перед глазами Наташки, она спрятала платье в комод и приказала подавать самовар.

За чаем она объяснила, что денег у неё всего двадцать копеек, а на фабрике место откроется не раньше как через неделю. Это очень огорчило Наташку. Она сидела как на горячих углях, отмалчиваясь от шуток Паши, и, наконец, встала – уходить. На дорогу Паша сунула ей яблоко.

На чердаке было совсем темно, когда Наташка вернулась. Аглая стонала.

– Маменька!

– Чего там?

– Хотите яблока? Паша дала. На фабрику через неделю. А вы, маменька, не сердитесь, будьте так милосердны!

Старуха взяла яблоко.

– Свечки нет, – сказала она с упрёком. – Холодно. Уморишь ты меня, Наташка!

Послышался треск откусываемого яблока. У Наташки потекли слюнки.

– Что ж, Паша дала денег?

– Не дала. Нету.

Раздался новый аппетитный треск.

– Дворник приходил, – сказала старуха.

– Зачем? – спросила Наташка, сплёвывая.

– А затем, что ты матери не жалеешь ни на волос, – отвечала старуха раздражённо. – Прогнала Рахиль Борисовну в такое время, что хоть в гроб ложись! Теперь будь деньги – свечей купили бы, чаю. Я чаю уже месяц не пила. Клюквы хочется. Колбасы вот недавно хотелось. Поела бы, легче стало бы. И за квартиру заплатили бы. Носится со своею честностью... Ох! Не для нас она, девочка. Может, я лучше тебя это понимаю, потому что, – присочинила она, – из образованного дома, в богатстве выросла, на фортепьянах учена, да кабы теперь помоложе была – не подорожила бы... А не то, что ты, мразь неграмотная... Любви в тебе нет ко мне!

Наташка тихонько заплакала. У неё зябли руки и ноги. Она проговорила:

– Маменька!

– Чего там?

– Я пойду.

– Куда?

– В Пассаж...

– Пойди к Рахили Борисовне... вернее дело...

– Маменька! – со слезами крикнула Наташка. – Лучше мне в воду...

– Дура! Ну, как знаешь... Иди в Пассаж. Да не упрямься. Приноси денег. Приноси, милая! – сказала старуха с нежностью. – Да по дороге, будешь идти мимо колбасной, фунтик с чесночкомхвати... И горчички баночку... Пеклеванчик у Филиппова, да колечко миндальное. Слышишь?

– Слышу.

– Подожди. Чего бы ещё? Да! Чайку осьмущечку, полфунтика сахарцу, лимончиков парочку. Слышишь?

– Слышу, маменька.

V

Наташка недолго ходила в шумном и гулком Пассаже, сверкавшем своими зеркалами, газовыми рожками и раззолоченными карнизами. Молодой человек, с русой бородкой и в пальто с котиковыми отворотами, быстро разглядел Наташку, пленился блеском её застенчивых глаз, нежным румянцем смуглых

щёк, полудетским складом лица и предложил ей «прогуляться».

– Куда?

– Поедем ко мне.

– Я – не гулящая, – сказала Наташка с тоской. – А сколько дадите? Сто рублей дадите?

Молодой человек посмотрел на её нищенский костюм и спросил:

– Это за что же?

– Так. Я – не гулящая, – отвечала Наташка.

– Не обманываешь?

Она побожилась.

– Десять дам, – сказал он.

Она отошла от него. Но ноги её болели, она устала, была голодна. Встретившись опять с молодым человеком, она пошла с ним рядом.

– Согласна?

Наташка кивнула головой.

Выйдя на улицу, они сели на извозчика и поехали.

Ночь была морозная. В тёмном небе холодно горели серебристые звёзды. Холодно смотрели высокие дома своими сотнями окон. Вон освещён целый этаж. Это, верно, трактир или квартира богача, и у него бал. Вон на чердаке

блестит яркая точка. Шьют там, что ли? Или там тоже мечется больное существо, проклинает жизнь, и сидит над ним какая-нибудь голодная Наташка, жертва несправедливости, неизвестно чьей? Или весёлая Паша пришивает воротничок к новому платью, чтобы ехать в приказчиный клуб? Или там, может, ссорятся в этот момент, дерутся, убивают?

Снег скрипел под полозьями. Голоса тревожили спокойствие зимней ночи, и в её прозрачной тишине слышались целые фразы, долетавшие с тротуаров и из саней. Люди шли и ехали вперёд и назад, и никому из них не было дела друг до друга.

Наташка тяжело вздохнула.

– Ты не озябла? – спросил молодой человек, потирая уши.

– А вам что? – отвечала она. – Нет, не озябла.

Извозчик проехал между тем Аничков мост, где недвижно стыли, взвившись на дыбы, колоссальные кони, покрытые снегом точно белыми попонами, проехал дом Белосельских-Белозерских, повернул в Троицкий переулок, минул Пять углов и остановился

возле одного двухэтажного здания с тускло освещённым подъездом. Молодой человек жил в мебелированной комнате обыкновенного петербургского типа: на окнах запылившиеся занавески с подзорами; мягкая мебель, с захватанными спинками и ручками; в углу – этажерка, а на ней графин с водою, пожелтевший от грязи; за перегородкой – спальня.

Сняв пальто, молодой человек подошёл к Наташке и поцеловал её.

– Посмотрим, посмотрим! – сказал он весело.

Губы его хищно раздвинулись, а глаза, тёмные и острые, впились в Наташку.

Она взглянула в угол и вздохнула.

– Сядь сюда, на диван, – приказал он и взял её за руку.

Когда они сели, он спросил:

– Что ж, у тебя есть родные?

– Маменька есть. Мы – бедные. А они очень больны и не могут стирать бельё... Не трогайте, пожалуйста, не нужно так!.. Маменька за квартиру должны. Дворник пристаёт... Нет добрых людей!.. Сваха приходила... Тоже подлая душа!

– Подлая душа? – произнёс молодой человек, улыбаясь, с блуждающим взором. – Послушай, – спросил он, – как тебя зовут?

Она сказала.

– Наташа!.. Натали!.. Прелестно! Ну, и что ж, тебе страшно?.. Скажи, тебе нравлюсь я?.. Вообще мужчины? Или вот, скажи мне, неужели ты исключительно по расчёту? И у тебя никогда не было желания узнать, что такое любовь?.. Говори же?

– Что мне говорить! – отвечала Наташка, хмурясь и протягивая к коленкам руки. – Я вам сказала – десять рублей... А оттого, что бедные... По нашему званию нечего гордиться!.. Что и честь, коли нечего есть!

Молодой человек сделал гримасу.

– Это безнравственно! – сказал он, стараясь обнять её. – Ты могла бы заработать иным путём... Например... Одним словом, мало ли профессий! Но разве можно продавать себя по холодному расчёту? Гадко, гадко! Я, конечно, понимаю, нельзя же без денег... Но это не должно преобладать. Пусть будет хоть немножко увлечения. Хорошо, что я попался. Но вдруг старик? Грязный, трясущийся, пья-

ный... И ему... этому... этой развалине достанется такой свежий цветок!..

Он ущипнул её за щеку и оскалил зубы.

– Цветок! Что ж ты молчишь? – произнёс он, целуя девушку. – Скажи, пожалуйста, когда я ласкаю тебя, что ты испытываешь? – приставал он, обнимая Наташку.

– Ничего, – прошептала она тоскливо. – Стыдно мне! Так мне стыдно! – прибавила она, вырываясь, чувствуя холод ужаса, испытывая одно желание – убежать отсюда, от этого молодого человека.

– Неужели, вот я тебя целую в щеку – и тебе ничего? – продолжал молодой человек. – Скажи, приятно тебе?

– Нет.

– Что ж – неприятно?

– Да известно... Я вас не знаю...

– Плутовка! Ну, узнай. Поцелуй меня!.. Ну?!

Наташка потупилась и не двигалась, плотно прижав руки к коленкам.

– Поцелуй же!

– Господи, Боже мой! – пробормотала она, обводя глазами комнату с безнадежной тоской, и стала вытягивать пальцы.

Слёзы закапали ей на грудь и упали на руку молодого человека.

– Что с тобой? – вскричал он тревожно.

– Так. Мы очень бедные...

– Фу, как кстати вспомнила! – с досадой произнёс молодой человек. – Уж ты говорила! К чему повторять!

– Сегодня я ещё ничего не ела... Мы такие бедные...

– Продолжай, милочка, продолжай! Ведь вот народец! Не могла она потом поесть...

Он встал.

– Я пошлю... – сказал он.

– Не надо... А что я вас, барин, попрошу. Не трогайте вы меня. А ежели вы – добрый, то дайте нам хоть пять рублей, и я вам их принесу, как заработаю. Вот крест меня убей! Барин! У вас много денег, а у нас ни грошика. Я скажу Паше, она к вам придёт, она – совсем барышня, но только я не могу. Ах, барин!

Она опять заплакала.

– С ума ты сошла! – вскричал молодой человек и, схватив её за руки, напряжённо улыбаясь, стал насильно искать её губ своими губами.

Наташка сопротивлялась, мотая головой.

– Пустите! – кричала она. – Пустите, я вам говорю!

Ей было стыдно нестерпимо, и она крикнула:

– Караул!

Молодой человек испугался и бросил её.

– Ах, ты! – бесился он, широко шагая по комнате и бросая на Наташку молниеносные взоры. – Скажите, какая комедия! Да я тебя... Нет, я полицию позову! Городовой!.. Оставайся, или я сейчас! Что это – новый вид мошенничества? Ах, ты!..

– Не боюсь я полиции! – сказала Наташка. – Я – честная. А ты – дурак! Во – дурак! Во!

Глаза её блестели, бледное лицо было перекошено. Молодой человек схватил её за воротник и не пускал. Ветхая материя затрещала. Наташке жаль стало своего добра, она изловчилась, укусила молодого человека за палец, и он сильно ударил её по лицу.

Наташка зарыдала, приложила к носу, откуда пошла кровь, конец косынки и выбежала вон.

Газ горел по обеим сторонам чёрной улицы. На Невском проспекте сновали экипажи. Окна магазинов ярко сияли. В одном из них Наташка увидела колбасы, висевшие и лежащие в красивом порядке. Остановившись тут, она вспомнила о матери и сообразила, что поступила глупо, поссорившись с молодым человеком.

«Ах, какой у меня характер!»

Впрочем, молодой человек был так ей ненавистен, что, представляя себе его, она плакала от злости.

Становилось очень холодно. Она направилась к Пассажу. Его только что заперли, и она стала ходить по Невскому.

Несколько раз мужчины засматривали ей в лицо и отшатывались, испуганные её безобразием: кровь запеклась у неё под носом и на щеках.

Барышни с тёплыми муфтами, в щёгольских пальто, с белыми лицами, встречая её, указывали на неё пальцами и заливались хриплым смехом.

Потом барышень становилось меньше и меньше. Невский проспект пустел. На широ-

кую панель падал свет от фонарей бледными зыблущимися лучами, и мрак расползался кругом, а в воздухе, перед самыми глазами, искрилась снежная колючая пыль.

«Хоть бы кто взял! – мечтала Наташка. – Хоть бы три рубля принести»...

Ног она не чувствовала вплоть до пояса, руки онемели. И она шла, всё шла...

На углу Знаменской улицы встретился господин в шубе. Он не заметил Наташки, Наташка сама пристала к нему.

– Возьмите меня, барин! Добрый барин!..

Он остановился, посмотрел ей в лицо и сделал гримасу.

– Чего тебе? – сказал он грозно.

– Можно вам сказать один секрет? – произнесла она застывающими губами.

– Говори!

– Возьмите меня с собою...

– Пшла!

– Барин, подарите же мне... Ну, хоть рублик! – Я голодная, я ничего не ела... Маменька больная... Барин!

Она говорила невнятно, голос её жалобно звенел в морозном воздухе.

– Рублик! Жирно, брат. А вот тебе пятнадцать копеек. Господь тебя простит! Да не таскайся... морда какая.

Он протянул деньги, но она не успела их взять, и монета упала в снег. Господин в шубе махнул рукой и скрылся, а Наташка стала рыться в снегу. Денег никак нельзя было найти.

Она встала, тупо вздохнула, повернула в Знаменскую, повернула ещё в какой-то переулочек, пустынный и тёмный.

Силы оставили её. Всё тело цепенело. Переулочек тянулся бесконечным чёрным коридором, и вдруг она забыла, куда идти. Воздух по временам шумел, точно вихрь рвал и комкал его. Она уже не двигалась сама, а будто какая-то внешняя сила бесцельно толкала её. Тоска сжимала ей грудь; мысли путались.

«Может, я сплю?» – думала она.

Она всё шла, сама не зная куда, мучительно ожидая пробуждения, как это бывает в тревожном сне, когда кажется, что летишь под гору, окружённый каким-то странным полупрозрачным сумраком, в котором толпятся тени без очертаний.

Но жаркая нега разлилась по жилам. Ноги точно налились свинцом. Голова упала на грудь, веки отяжелели. Шум стих мало-помалу.

«Уж и в правду, не сон ли?» – подумала Наташка и увидела на крылечке дома, вдруг осветившегося солнцем, хорошенькую девочку, с полными розовыми ручками, подававшую ей кусок чёрного хлеба с крупной солью.

«Да это Колпино! – решила она. – Это та девочка, что мы с Пашей летось в лесу нашли и домой привели. Нас барыня сама за это чаем напоила. Хороший чай – с сухарями и сливками. У них каждый Божий день такой чай два раза пьют».

Она присела и стала есть хлеб. Соль захрустела у неё на зубах, и хлеб был удивительно вкусен.

«Господский хлеб, – подумала она с убеждением. – Корочку сама съем, а мякиш надо маменьке отнести».

Набежали розовые тучи. Хлынул тёплый дождик, и в лужах, разлившихся по мураве, отразились деревья. Девочка болтала и смеялась, бегала, подняв платице, по воде и

брызгала на Наташку; и брызги казались золотыми. Наташка простирала руки в защиту, но тёплые капли кропили её всё чаще и чаще и слились, наконец, в янтарный туман, в котором чуть мелькала светлой тенью смеющаяся девочка. Наташка хотела встать и не могла; хотела сказать, хотела крикнуть – и губы не слушались. Кругом всё тускнело...

То, действительно, был сон: блаженный, невозмутимый, вечный.

Март 1881 г.